

**Круглов А. Н. Кант и кантовская философия в русской художественной литературе. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. — 480 с.**

Книга Алексея Николаевича Круглова написана настолько профессионально, что вызовет трудности у любого рецензента. Колоссальный объем изученных источников и исследований, свободное владение фактами биографии кенигсбергского философа, ироничный и критичный взгляд на умозаключения многих предшественников — все это очевидные достоинства монографии, которая украсит книжную полку любого гуманитария.

Автор честно оговаривает рамки работы в предисловии: «...в задачи данного труда литературоведческий анализ художественных образов Канта входить не будет (в том числе и по причине соответствующей некомпетентности автора)» (с. 9); всеохватность в отношении русской литературы XVIII — начала XXI в. невозможна по причине масштабности материала, «почти наверняка ряд весьма примечательных в данной связи персон и сочинений остался за рамками повествования» (с. 10). А. Н. Круглов ставит вопросы о том, насколько образ Канта, отложившийся в различных пластах русской литературы, отвечает исторической правде, а переданные идеи — кантовским размышлениям; каковы источники знаний русских писателей о кенигсбергском мыслителе; подвергся ли кто-то из них серьезному влиянию со стороны Канта. Критерием отбора авторов стало «присутствие на страницах их сочинений имени Канта или прямых ссылок на его произведения» (с. 10). Некоторые замечания А. Н. Круглова имеют методологическую значимость — их следовало бы учитывать в других работах, посвященных рецензии зарубежных авторов в русской мысли: «Практически каждую тему или проблему русской литературы можно легко привязать к кантовской философии... Если же все-таки и удастся отыскать такую тему, которая никоим образом не перекликается с философией Канта, то и ее с легкостью можно рассматривать в качестве немого укора, который русский писатель пожелал сделать немецкому философу за ее игнорирование» (с. 10).

Оградив себя подобным образом от упреков в неполноте (отсутствие чьих-то имен) или формальности подхода (упоминание имени Канта как повод для разговора), А. Н. Круглов приступает к работе. В монографии девять глав, содержащих значительный материал по истории русской словесности последних двух столетий. Воображаемое путешествие читателя строится сообразно хронологии: нужно отправиться со станции «Пушкин и Кант» (глава 1), затем последовать за образом Канта в русской литературе конца 1820—1840-х годов (глава 2) и в русской прозе второй половины XIX века (глава 3), задержаться на двух важных станциях «Достоевский и Кант» (глава 4) и «Лев Толстой и Кант» (глава 5), продолжить путь по страницам русской поэзии второй половины XIX — начала XX века (глава 6) и русской прозы первой половины — середины XX века (глава 7), встретиться с личностью Канта в русской литературе первой половины XX века (глава 8) и завершить путь вместе с его образом в литературе второй половины того же столетия (глава 9). На некоторых станциях собирается немало пассажиров: так, для разговора о Канте и Пушкине автору понадобилось привести

разнообразные сведения и о других писателях пушкинского круга, и об обращениях к Канту современников великого поэта, и о степени популярности кантианства в Геттингенском университете (похожий прием использован в главах о Достоевском и Толстом). Такое калейдоскопичное видение отношений между гениями имеет свои резоны: А.Н. Круглову удается представить историко-культурный фон и раскрыть многообразие связей, характерных для российской интеллектуальной истории в высших точках ее развития. В этом смысле такое изложение может быть признано оправданным.

В приложении к книге приведен выполненный А.Н. Кругловым перевод текстов Канта (конспектов лекций, частных писем, черновых записей и проч.), в которых упомянуты русские или Россия. Весь собранный и дотошно изученный автором монографии материал представляет, по сути, небольшую энциклопедию по теме «Кант и русская литература», которая будет полезной для самых разных целей. Эта работа, в которой содержится немало любопытных фактов, поправок к ошибочным выводам предшественников, глубоких размышлений автора, будет востребована и кантоведами, и историками литературы, и биографами отечественных инженеров человеческих душ.

Осветить все достоинства этой монографии представляется утопичной задачей — пришлось бы подобно борхесовскому Пьеру Менару переписать текст. Однако остановиться на самых важных пунктах исследования необходимо.

Отношениям А.С. Пушкина с Кантом посвящено уже немало работ, и А.Н. Круглов постарался учесть выводы предшественников. Автор далек от самоуверенной расстановки всех точек над «i». Хотя, пишет исследователь, «ничто прямо не указывает на то, что Пушкин непосредственно был знаком с кантовскими текстами» (с. 22), в то же время «более весомой выглядит позиция тех пушкиноведов... которые исходят из того, что в этических и эстетических взглядах Канта Пушкин усмотрел нечто близкое своим собственным убеждениям» (с. 47). Знакомство с Кантом через второисточники не исключает совпадений, но, конечно, затрудняет однозначную аттестацию Пушкина как кантианца. Впрочем, тема отношений Пушкина и Канта (и Карамзина) только заявлена к настоящему моменту и нуждается в дальнейшей разработке.

Неоспоримую ценность имеет и другое наблюдение А.Н. Круглова. Для русской литературы с ранних периодов обращения к кантовской теме характерна тенденция «использования имени Канта для демонстрации учености героя, читающего сами сочинения кенигсбергского мыслителя — будь то в положительном, нейтральном или ироническом плане. Никакой серьезной смысловой нагрузки упоминание имени Канта при этом не несет, а поэтому без особого труда может быть заменено на имя какого-либо иного философа» (с. 54–55). Примеров такого «кантианства» русских писателей в монографии достаточно много.

После характеристики упоминаний Канта в отечественной литературе первой половины XIX века А.Н. Круглов останавливается на двух титанах русского слова, поныне символизирующих все величие нашей культуры в глазах западной публики. Без сомнения, эти две главы удались исследователю лучше всего.

Разговор о Ф.М. Достоевском и Канте А.Н. Круглов строит на основе дискуссии с концепцией Я.Э. Голосовкера. Полемике предшествует свод цитат из сочинений Достоевского. Вот пример тонкой работы исследовате-

ля с текстом: «В “Дневнике писателя” на 1880 год Достоевский высказывает мысль о том, что неравноправные отношения между людьми, при которых одни помогают творчеству других, не исчезнут и в будущем. Для иллюстрации своего тезиса он обращается в том числе и к Канту: “Представьте, что в будущем обществе есть Кеплер, Кант и Шекспир: они работают великую работу для всех, и все сознают и чтут их. Но некогда Шекспиру отрываться от работы, убирать около себя, вычищать комнату, выносить ненужное”. Вероятно, Достоевский не только не читал трактаты Канта, но и мало знал о его жизни, в противном случае он мог бы очень удачно проиллюстрировать свою мысль при помощи такого колоритного персонажа, как кантовский слуга Лампе» (с. 84).

Анализ текстов русского классика приводит исследователя к выводу: «напрямую Достоевский с Кантом полемизировать отказывался, что, впрочем, не может остановить поток спекуляций на эту тему» (с. 84). К таким спекуляциям, по мнению А.Н. Круглова, относится знаменитая работа Я.Э. Голосовкера «Достоевский и Кант» (1963 г.), в которой продолжалось противопоставление двух гениев, начатое трудами Д.С. Мережковского, Л.И. Шестова и П.А. Флоренского.

«Голосовкера интересовало, что можно увидеть в КЧР («Критике чистого разума». — И. Д.), если взглянуть на нее глазами Достоевского. А при большом желании в таком трактате, как кантовский, можно увидеть почти все что угодно, о чем и говорит противоречивая история его восприятия» (с. 96). Голосовкер размышляет над тем, «как читал Канта Достоевский», «но чтобы ответить на вопрос, как Достоевский читал КЧР, — снова иронизирует А.Н. Круглов, — надо быть уверенным, что он вообще читал этот трактат» (с. 96). Исследователь последовательно опровергает аргументы Я.Э. Голосовкера (надежных свидетельств о чтении трактата писателем нет; если и читал, то во французском переводе, что ставит под сомнение скрытые цитаты из оригинала в тексте романа «Братья Карамазовы»; «истинный знаток античной мифологии» под влиянием силы введенного им же образа горгон путает кантовские антиномии; неадекватно трактуется и категорический императив как «псевдосовесть», что сближает Голосовкера и других авторов, принадлежащих к традиции «дедущирования из одного предложения философа всего универсума» (с. 110) и т.п.). «...Демонизация Канта в России складывалась постепенно, — продолжает А.Н. Круглов, — и Голосовкер продолжил ее уже в советское время, что было не совсем типично. Если же отвлечься от пародийности и карикатурности, то явно станут заметны все небрежности» (с. 111). Вывод исследователя неутешителен: «Голосовкер представил интересную и необычную интерпретацию романа Достоевского, которая и спустя полвека по-прежнему пробуждает мысль читателей и исследователей. Но если задать вопрос, обосновано ли его утверждение о Достоевском как читателе Канта, ответ будет отрицательным» (с. 116).

В отношении Льва Толстого дело обстоит совершенно иным образом. Писатель штудировал труды Канта, делал многочисленные пометки, цитировал философа. Его основной интерес вызывали «сугубо экзистенциальные вопросы, лежащие в основе кантовских рассуждений. И здесь Толстой показал поразительную проникновенность» (с. 129). Помимо заметок, выдающих глубокое проникновение писателя в суть кантовской мысли, об этом говорят со всей очевидностью и его главные сочинения. В эпилоге «Войны и мира», по мнению А.Н. Круглова, присутствуют следы кантов-

ского учения об антиномиях; в самом романе имя философа отсутствует (хотя встречается в черновиках), но зато Кант занял свое место в ряду книжных предпочтений Левина в «Анне Карениной».

А. Н. Круглов интерпретирует толстовское увлечение Кантом в контексте нарастающего разочарования писателя в философии А. Шопенгауэра. Более всего зрелого Толстого поразила «Критика практического разума» (КПР), в которой «он особо восхищается кантовской трактовкой свободы, нравственных законов и рассмотрением человека как вещи самой по себе» (с. 142). «Проницательность Толстого можно показать и на примере толкований одной знаменитой фразы Канта из предисловия ко второму изданию КЧР, в которой философ говорит: "...мне пришлось ограничить (aufheben) знание, чтобы освободить место вере". Сколько копий было сломано в советской кантоведческой литературе по поводу этих слов и значения кантовского "aufheben"! Усматривали в ней все что угодно — от иронии до скрытого материализма. Но вот как мог бы ее истолковать не оканчивавший философских факультетов Лев Николаевич: необходимо расчистить место (КЧР) для того, чтобы возвести на нем храм (КПР)» (с. 142–143). Восхищение Кантом у Толстого не отменяет критицизма (с. 144) и легкой иронии — «Кант терпеть не мог музыку, — писал Л. Н. Толстой. — Он из искусств считал самым важным кулинарное» (с. 151). Сходясь в вопросе пацифизма, Толстой и Кант по-разному относятся к праву, а вот в сфере этики и религии «можно обнаружить и точки соприкосновения, параллельные мыслительные ходы» (с. 156).

На фоне общего поверхностного отношения к великому кёнигсбержцу фигура Толстого возвышается как одинокий курган в степи. «Не успев как следует вникнуть в творчество Канта, русские мыслители перекинулись на Шеллинга. Время же детального знакомства Толстого с Кантом — это время увлечения в России Гегелем. И в этих совсем не способствующих чтению Канта условиях Толстой привычно пошел против течения и очень тонко воспринял многие идеи кёнигсбергского мыслителя. Некоторые замечания Толстого о Канте поражают и сегодня, в начале XXI века» (с. 157).

Следующие три главы просто подавляют читателя множеством цитат из Канта в творчестве авторов самого разного толка — поэтов Саши Черного, Марины Цветаевой, Игоря Северянина, Александра Блока, Николая Гумилева, Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Вячеслава Иванова, прозаиков Евгения Замятина, Андрея Платонова, Ильи Эренбурга, Даниила Хармса, Владимира Набокова, Константина Паустовского, Василия Гроссмана, Максима Горького, Михаила Пришвина, Марка Алданова, Михаила Зощенко... Особенную популярность Кант приобрел в Серебряном веке, однако и на страницы советских изданий удалось пробраться создателю критики чистого разума. В большинстве случаев — и в дореволюционной, и в советской литературе — это, впрочем, разовые упоминания, возвращающие нас к мысли А. Н. Круглова о том, что на месте Канта мог бы оказаться любой другой мыслитель, чтение трудов которого производит впечатление учености.

Некоторые писатели испытали все же значительное влияние Канта, о них исследователь пишет подробнее, хотя количество, вопреки устоявшемуся мнению, редко переходит в качество. «В сочинениях Андрея Белого... Кант занимает действительно неординарное место» (с. 177). С гимназических лет читавший Канта Белый глубоко изучал творчество немецкого философа и в университете. «Большинство сочинений Белого прямо-таки ис-

пещрено по преимуществу бессистемными ссылками на Канта, а также на кантоведов и неокантианцев» (с. 178). К первой группе отсылок относятся указания на какие-то «содержательные тезисы» философа (нередко, подчеркивает А. Н. Круглов, превратно толкуемые и вырываемые из контекста, как, например, кантовская фраза о «целесообразности без цели»), ко второй — оценочные суждения в адрес Канта, «которые зачастую вовсе не поддаются пониманию (“обезьяна” и т.п.)» (с. 178). Все эти обращения к Канту обусловлены, по мнению исследователя, «внешними обстоятельственными и понятны не столько из философии самого Канта, сколько из распространенных в начале XX века кантовских трактовок, нередко весьма превратных, а также из той культурной среды, в которой вращался Белый. Удивительно то, что он, в отличие от многих русских писателей, несомненно, неоднократно читал сами сочинения Канта; но, несмотря на это, практически полностью полагался в своих воззрениях на критическую философию на второисточники, причем зачастую второсортного, а то и третьесортного качества» (с. 178—179).

Другой характерный пример — Сигизмунд Доминикович Кржижановский. «Пожалуй, ни у одного другого русского писателя Кант не проходит такой сквозной нитью через все литературное творчество» (с. 236), как у него. Образу Канта в сочинениях этого полузабытого к нашему времени прозаика посвящен большой раздел (с. 236—263), показывающий читателю разнообразие мотивов — от автобиографического описания обеспечившего «спасение мозга» погружения пятиклассника гимназии в проблематику «Критики чистого разума» до карикатуры на неокантианство в произведении «Неукушенный локоть». В рассказе «Катастрофа» Кржижановский ярко описывает, что происходит с незрелым человеком, наделенным богатым воображением и обдумывающим основные положения трансцендентальной эстетики «Критики чистого разума». Сарказм в отношении кантовской телеологии, как и другие бурные реакции писателя на философию Канта, показывают и возможности, и опасности, сопутствующие рецепции идей немецкого мыслителя на почве русской литературы.

Большое внимание уделено кантовской теме в романе «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова (с. 323—365): в сцене на Патриарших прудах Воланд упоминает свой завтрак у Канта. А. Н. Круглов подробно разбирает достижения и (что встречается чаще) недочеты отечественного булгаковедения в анализе кантовского доказательства бытия Бога. Вышло так, что и взгляды Канта в романе изложены не очень точно (исследователь прямо говорит о «несуразице», но за нее, возможно, Воланд отвечает больше, чем писатель), и характеристики философа не поддаются объяснению («почему Кант назван... “беспокойным” — на этот вопрос я ответить не могу. То, что философ назван “стариком”, “старикашкой”, укладывается в традицию, которая менее странной от этого не становится» (с. 340) и т.д.), и даже история с завтраком, на котором Воланд обсуждал теологические проблемы, крайне сомнительна на фоне наших знаний о кантовских привычках («Кант практически всю свою зрелую жизнь... никогда не завтракал... Да и по иной причине обстоятельства были для гостей явно неподходящие: все это происходило в пять часов утра. Вот если бы Булгаков заменил “страннейший завтрак у покойного философа Канта” на обед, то он попал бы в самую точку» (с. 341)<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> Впрочем, вправе ли был писатель корректировать рассказ Воланда, возможно, сознательно исказившего обстоятельства своего визита к покойному философу?

Последняя глава, посвященная русской литературе второй половины XX века, к сожалению, занимает всего несколько страниц (с. 369–374). Дан краткий обзор самых ярких образов Канта в прозе Венедикта Ерофеева<sup>2</sup>, поэзии Иосифа Бродского, Константина Ваншенкина, Леонида Мартынова и регулярно затрагивающего в своем творчестве кантовскую тему Алексея Цветкова. Лаконичность этой главы объясняется автором так: «...что-то действительно примечательное в литературной кантиане этого времени почти не встречается. Чаще всего нещадно эксплуатируется фраза Канта из КЧР про звездное небо и моральный закон» (с. 369).

В заключении автор подводит итоги исследования: присутствие Канта на страницах произведений русской литературы настолько значительно, что «по представителям литературной кантианы можно легко изучать историю русской литературы, причем довольно представительную и репрезентативную» (с. 375). Исследователь предлагает обобщенную типологию образов Канта, и она поражает разнообразием чувств в отношении немецкого философа. Отчетливо заметна А. Н. Круглову и «динамика изменения кантовского образа: от почтительного, уважительного и слегка ироничного описания Карамзина к отвратительному портрету пера Горького» (с. 376). Восхищавшийся Кантом Лев Толстой стоит в оппозиции к Блоку и Горькому, наделившим автора «Критики чистого разума» противоречивыми, но в основном негативными характеристиками.

Вообще, «отличительной чертой русской литературы... представляется насмешка с налетом вульгарности и цинизма: мозоль умнее Канта (Мережковский), мозг мухи не отличается от мозга Канта (Чехов), лекарство от зубной боли полезнее философии Канта (Булгарин), в болоте черта отыщется поболее искомого Кантом (Хлебников), в кантовском чистом пространстве не нужны калоши (Кржижановский), КЧР не удобна при переездах (Белый). Еще одним странным... обстоятельством, которое бросается в глаза только благодаря общему обзору, оказывается расположение Канта в окружении самых разных живых тварей: при упоминании кенигсбергского мыслителя и его философии всплывают мошки, комары, мухи, пауки, тарангулы, мыши, осетры, соловьи, петухи, индюки, страусы, щенки, собаки, ослы, обезьяны, маргашки, орангутанги и даже слоны» (с. 380–381).

Уровень знакомства русских писателей с кантовской философией, по мнению А. Н. Круглова, в целом отвечал состоянию синхронной русской философии. «К сожалению, — резюмирует исследователь, — в русской кантиане больше проявляются не сила и достоинства, а недостатки и слабость столь славных русских прозы и поэзии. Вызывает удивление, почему немало русских литераторов, имевших смутные или, еще хуже, превратные представления о кенигсбергском мыслителе, упустили прекрасную возможность промолчать о нем, в особенности в ситуации, когда их никто сильно за язык и не тянул» (с. 382). Правда, и сам Кант, «не питая, прямо скажем, большой любви к России, мало зная о ней, но, тем не менее, высказывал свои суждения на ее счет» (с. 382). В этом отношении вся масса русской литературы дает своеобразный ответ на кантовскую русофобию, о которой, впрочем, большинство мастеров слова представления, по всей видимости, не имели. «И все же тот факт, что именно Кант был выбран объектом многочисленных насмешек, косвенно говорит о многом, — отмечает А. Н. Круглов. — В качестве сатирического объекта русские литераторы

---

<sup>2</sup> В сносках еще через запятую приведены ссылки на прозу В. Астафьева, Ч. Айтматова, Т. Толстой, В. Пелевина и Л. Петрушевской.

могли бы избрать, например, столь близких им по художественным приемам французских просветителей, а не столь нелюбимого ими кенигсбергского мыслителя. Однако даже те, кто низводил Канта до мошки и комара, подспудно понимали, что самоутверждению на Гольбахе или Ламетри грош цена» (с. 386).

Монография А. Н. Круглова написана блестяще и доставляет подлинное интеллектуальное удовольствие. Автор лишен привычного для калининградского читателя пиетета перед личностью Канта: отмечается, например, то, что философ погряз в предрассудках своего времени в отношении русских (с. 33). Образчики кантовской русофобии, собранные в приложении, убедительно подтверждают эту мысль. А. Н. Круглов уверенно полемизирует с именитыми предшественниками: с Ю. М. Лотманом по вопросу трактовки образа черных кудрей до плеч Ленского в «Евгении Онегине» (с. 35) или с Я. Э. Голосовкером — по всем пунктам подряд. Исследователь аргументированно и не без изящества поправляет комментаторов различных произведений русской словесности. Например, запись в дневнике В. А. Жуковского 1820 года «*Кёнигсберг... Дом Кантов*» интерпретируется в примечаниях как свидетельство посещения писателем «мемориального дома немецкого философа». «Я думаю, — иронично замечает А. Н. Круглов, — эта неточность редакторов возникла из-за избыточного почтения к современникам Канта; вероятно, в начале XXI века им трудно было представить, что сразу после смерти великого философа его дом был продан на аукционе, после чего в нем был устроен не мемориальный музей, а небольшая гостиница с бильярдом и кегельбаном... В связи с этим запись Жуковского следует понимать, вероятно, так: он либо видел бывший дом Канта снаружи, либо зашел в гостиницу, которая раньше была домом философа» (с. 41).

В некоторых местах отточенные формулировки А. Н. Круглова могут быть разобраны на цитаты, *bons mots*, которые хорошо было бы донести до широкого круга читателей, склонных рассуждать о великом сыне Кенигсберга. «Говоря словами Л. Н. Толстого, вне зависимости от отношения к Канту, трудно считать его дураком. Но именно таковым его и выставляют истолкования категорического императива, согласно которым к человечеству следует относиться только лишь как к цели. Даже мысленно, в идеальных условиях вряд ли возможно представить себе такую ситуацию, при которой мы не относились бы к другим как к средству. Глубина кантовской мысли состоит в обороте “не только как к..., но и как к...”, который оказывается, к сожалению, превышающим возможности понимания многих людей, считающих себя образованными» (с. 91). Некоторые же советы Канта в изложении А. Н. Круглова просятся на плакаты: «Пивная — не лучшее место для рассуждений о кантовской философии, а пиво — и вовсе совершенно неприемлемый в данном случае напиток, ибо Кант, рассматривавший его в качестве достаточного источника болезней и смерти, узнав о чьей-либо смерти в расцвете сил, нередко (как оказывается, провидчески) замечал: “Вероятно, он пил пиво”» (с. 121).

Исследование А. Н. Круглова потребовало колоссальной работы, и уважение к ней побуждает меня сформулировать и некоторые критические соображения, потому что совершенствоваться в исполнении исследовательского долга трудно в условиях вакуума, который возникает в отсутствие тактичных замечаний со стороны заинтересованных читателей.

Прежде всего озадачивает способ организации материала. Обращению к творчеству Пушкина предшествует характеристика темы кантовской фи-

лософии в творчестве ряда русских авторов. Порядок их появления перед глазами читателей заставляет допустить, что исследователь положил в основу перечисления принцип хронологии написания сочинений. Этот принцип, однако, неизбежно вступает в противоречие с другим — А. Н. Круглов стремится дать целостные характеристики творчеству писателей. Тогда в случае нескольких разбросанных во времени упоминаний Канта одним автором (у М. Горького или С. Д. Кржижановского) выдержать избранный принцип не получится. Может быть, логичнее было бы придерживаться дат жизни писателей. В любом случае невозможно объяснить, почему характеристика Н. А. Некрасова (1821–1877), упомянувшего Канта в стихотворении 1843 года («Ну вот и Кант, философ славный...») (с. 64), предшествует фрагменту о В. К. Кюхельбекере (1797–1846), написавшем в 1839 году стихотворение о немце, в котором «природа Канта вторым тиснением вышла в свет» (с. 66), или почему появление фамилии Канта в рассказе В. С. Гроссмана (1905–1964) «Собака» (1960–1961) нужно обсудить раньше (с. 275), чем презрительную аттестацию кенигсбергского философа («очень жалкий и уродливый человек») героем незаконченного произведения Максима Горького «Мужик» (1899–1900) (с. 279). Русские писатели все время пишут о Канте, поэтому, конечно, универсального принципа расположения материала найти, наверное, нельзя, но объяснить читателю то, как строится траектория движения по страницам русской классики, было бы уместно.

Еще больше вопросов вызывает соотношение понятий «литература», «проза» и «поэзия», на которые опирается композиция монографии. По умолчанию предполагается, что литература включает в себя и прозу, и поэзию. Однако в седьмой главе речь идет о «Канте в русской прозе первой половины — середины XX в.», а в восьмой — о «личности Канта в русской литературе первой половины XX в.». Трудно объяснить, почему при этом оценка личности Канта как «вредного старика» у Ларисы Рейснер попала в седьмую главу, а анализ преломления кантовских идей в романе Булгакова — в восьмую. По большому счету, обе главы рассказывают об образе и идеях Канта в русской литературе первой половины прошлого столетия, а в седьмой (вопреки названию) присутствуют цитаты из поэтических произведений (стихи Александра Введенского на с. 271).

В книге справочного характера (а монография А. Н. Круглова может использоваться как справочник) большую роль играют указатели и разнообразные вспомогательные сведения. К сожалению, аппарат издания не свободен от недостатков, хотя известно, что прекрасное требует красоты формы. Встречаются опечатки, именной указатель содержит далеко не полную информацию, что обесмысливает его роль. Например, на фамилию калининградского кантоведа Л. А. Калининкова дано две ссылки на с. 81 и 163, при этом он ошибочно поименован «А. Л.» (с. 473). Подготовленный читатель, осведомленный о множестве работ Л. А. Калининкова по теме «Кант и русская литература», удивится такому ничтожному количеству ссылок. Однако необходимо констатировать неполноту сведений в указателе: в действительности автор монографии упоминает Л. А. Калининкова и в других местах — на с. 48, 88, 227 и т. д. В знак уважения к читателю, очевидно, А. Н. Круглов приводит в тексте годы жизни упоминаемых лиц; поскольку их довольно много, это заметно перегружает текст. В самом деле, зачем давать сведения о датах жизни Александра I или Наполеона, если их появление в книге носит окказиональный характер? Логичнее было бы пе-



реместить все сведения о датах жизни в именной указатель, тем более что принцип указания дат при первом упоминании исторического лица все равно не выдержан (переводчик М. И. Владиславлев упомянут на с. 94, а даты приведены на с. 97; то же самое приключилось с Г. В. Ф. Гегелем, И. Г. Гердером, П. А. Флоренским, В. Ф. Эрном и др.).

В содержательном отношении автор обезопасил себя от всевозможных претензий и высоким научным уровнем анализа собранного по крупицам материала, и соответствующими оговорками в предисловии. Но некоторые лакуны все же не поддаются объяснению. Например, в монографии нашлось место Фаддею Булгарину, многим литераторам средней руки, чьи познания в кантианстве удачно характеризуются выражением «слышал звон», но отсутствует даже упоминание Бориса Пастернака. Пронзительная по искренности автобиографическая проза Пастернака («Охранная грамота») свидетельствует о том, что во время учебы в университете он «читал Гегеля и Канта», потом открыл для себя марбургскую школу — Г. Коген и П. Натюрп заменили в его картине мира классиков [4, с. 13]. Позже повествователь разбирает «урок из Канта» [там же, с. 42] и вспоминает об учебе у неокантианцев в Марбурге. О сходстве некоторых категорий философии Пастернака периода написания романа «Доктор Живаго» и категорий кантовской и неокантианской философии есть работы в зарубежной науке (см.: [7; 8]), о «магическом совпадении» работы Канта «Грезы духовидца, поясненные грезами метафизики» с романом «Доктор Живаго» рассуждает в «Кантианских вариациях» М. К. Мамардашвили. Все эти факты не позволяют запросто отказаться от осмысления места Пастернака в русской кантиане.

Явно несправедливо обойден вниманием один из выдающихся представителей литературы русского зарубежья Гайто Газданов, хотя персонажи его романов читают Канта («Полет», 1939) и обсуждают кантовские проблемы («Ночные дороги», 1941), а в автобиографической прозе писатель свидетельствует о том, что в юности он был поклонником «Критики чистого разума» Канта и защитником «индивидуализма и философии» (см.: [2, с. 109]).

Конечно, бросается в глаза краткость обзора русской литературы второй половины XX в., особенно на фоне глубокого проникновения в природу кантовских образов у русских литераторов позапрошлого века. Исследователь не видит особой новизны на этом этапе, и обзор превращается в простое перечисление нескольких наиболее типичных поэтических опытов. Однако трудно согласиться с недооценкой исторического контекста бытования образов Канта в литературе советского времени. Эта недооценка характерна и для главы с убедительной критикой построений Я. Э. Голосовкера. Тональность рассуждений А. Н. Круглова не позволяет ему вымолвить даже слова (кроме «интересный» и «необычный») в защиту автора, обратившегося к тематике отношений Достоевского и Канта в 1963 году. Между тем западные рецензенты книги Голосовкера очень хорошо ощущали революционный характер этой работы, далекой от ортодоксальности. Они рассматривали книгу как «важный признак того, что советская мысль не отказалась от трудных и вечных проблем» [9, р. 250], и особо рекомендовали ее по причине отсутствия привычных ссылок на Маркса и Ленина [6, р. 101]. Я. Э. Голосовкер вводил советского читателя в курс проблем Бога и черта, знакомил аудиторию с полузапретными темами Достоевского и малопонятными антиномиями Канта. Не важнее ли сама тема-

тика книги, чем аутентичность реконструкции взгляда русского писателя на немецкого философа?

И точно так же историко-культурное объяснение образа Канта в советской неподцензурной поэзии позволяет истолковать его как средство противостояния официозу. Именно так трактует, к примеру, Д. Давыдов строки в стихотворении «Я не знаком с гносеологией...» (1957) Михаила Красильникова, принадлежавшего к «филологической школе» в Ленинграде 1950–1970-х гг.: «Так был агностик опозорен, / Который мудрость Канта вызнал. / Мужик глядел на вещи в корень / С позиций материализма». Давыдов пишет: «Михаил Красильников (1933–1996) может быть назван одним из первых авторов-соцартистов, инвертирующих официозные темы и мотивы, вскрывающих их выморочность не через прямое отрицание, но — сталкивая несовместимые контексты, предлагая своего рода “интонационную критику” советского дискурса» [1].

К тому же ряду относятся появления Канта в стихах других аэдов, бросивших вызов системе, — Владимира Высоцкого («Калигулу ли, Канта ли, Катулла, Пикассо ли?! / — кого еще, не знаю, — / Европа предлагает непопад. / Меня куда бы пьянка ни метнула — / Я свой Санкт-Петербург не променяю / На вкупе все, хоть он и — Ленинград», 1978 г.) или Леонида Губанова (1946–1983), одного из самых удивительных русских поэтов прошлого века («Поклонник полей и Канта, / мой конь испугался слыть... / Я — тридцать седьмая карта, / которую нечем бить!..»).

Новые мотивы в русскую поэтическую кантиану привнесла Перестройка. В стихотворении «Дух Канта» Юрия Кузнецова (1941–2003), напечатанном в 1989 г., философ является в критический момент: «Дух Канта встал из своего угла / Похожий на двуглавого орла, / И клетот антиномий двуединых / Рассек безмолвье на седых вершинах. / И небеса, и нравственный закон / Потряс удар — распалась связь времен. / И вещи мира рухнули все разом, / И зарябил, как волны, чистый разум» [3, с. 24]. Образ Канта как в новейшей русской, так и в советской поэзии еще предстоит осмыслить.

Конечно, дорога в тысячу ли начинается с одного шага, и автор столь насыщенной фактурой книги не мог объять необъятное. Но у читателя, восхищенного эрудицией А.Н. Круглова, все же останется слишком много сомнений — всё ли действительно значимое учтено, все ли реальные влияния на крупнейших русских писателей выявлены. Говоря о загадочной помете Даниила Хармса («Против Канта») к рассказу «Голубая тетрадь №10» (1934), А.Н. Круглов последовательно пересказывает существующие в науке интерпретации странного случая с рыжим человеком, у которого ничего не было — ни глаз, ни ушей, ни волос, ни даже «внутренностей». Версии разных исследователей не принимаются, связь рассказа с кантовскими идеями не просматривается, вопрос о степени знакомства Хармса с текстами кенигсбергского философа не решается. В литературе есть и другие небезытересные гипотезы, которые А.Н. Круглов опускает. Так, Х.Л. Финк описывает Хармса как сторонника философии А. Бергсона, претендовавшего на восстановление разрушенного Кантом «моста между метафизикой и наукой» [5, р. 527]. С трудами французского мыслителя Хармса познакомил ленинградский поэт Александр Туфанов. Именно интересом к Бергсону объясняет Х.Л. Финк суть загадочного постскриптума. «...Достаточно человеческого интеллекта: таково и есть кантианское решение», — пишет Бергсон, и в пандан ему формулой «против Канта» бергсонист Хармс «отвергает как ограничение литературы строго интеллектуальным, логи-

ческим ходом событий, так и низведение человеческого знания до феноменального восприятия, исключая духовный, или ноуменальный, элемент реальности» [ibid., p. 534]. Словами «Ничего не было!», которыми Хармс резюмирует свое описание рыжего человека, писатель стремится избежать каузальности в литературе (и в жизни). Хармсовская алогичность также прочитывается как прямой политический вызов усилившейся сталинской философии «оптимистического детерминизма» 1930-х годов «Голубая тетрадь...», подчеркивает Х.Л. Финк, отсылает к неудовлетворенности Бергсона кантовским доверием к интеллекту как единственному средству достичь знания [ibid., p. 535]. Возможно, представленная интерпретация небезупречна (а упреки в адрес Канта не вполне справедливы), но она учитывает более надежные сведения о философском бэкграунде Д. Хармса, чем те, на которые ссылается в этой главе А.Н. Круглов.

Другой пример: в 2005 году в США Элизабет М. Шейнзон защитила докторскую диссертацию по теме «Поиск ноумена в русской литературе: кантовские тренды у Гоголя и Булгакова» [10]. Главный тезис Э.М. Шейнзон по поводу двух видных русских писателей, несомненно, вызвал бы у А.Н. Круглова возражения: «Кантовская мысль выступает организующим принципом, который не только обуславливает содержание, но и придает форму их сочинениям» [ibid., p. 1–2]. Если Булгакову в рецензируемой монографии уделено внимание, то раздел о Гоголе ограничен цитатами из его публицистики (с. 56–58). Э.М. Шейнзон доказывает, что «В “Петербургских повестях” Гоголь применяет кантовскую теорию к обстоятельствам, которые не имеют примеров у Канта» [10, p. 20], точно так же и «Мертвые души» выступают ответом Гоголя на кантовские вопросы. Реконструкцию американской исследовательницы можно оспаривать, но более сотни страниц текста на тему кантовских вариаций Гоголя нельзя проигнорировать.

В анализе булгаковского кантианства Э.М. Шейнзон отталкивается от эпизода на Патриарших [ibid., p. 138], но пытается представить более целостную картину мировоззрения писателя: «Мастер и Маргарита» трактуется как «кантианский роман» [ibid., p. 215], в котором исследуются идеи Канта в разных областях — политической теории, истории, религии и морали; даже структура романа обусловлена некоторыми требованиями кантовской философии (реальный мир Москвы и параллельно существующий воображаемый, то есть творимый Мастером мир, в котором торжествует идеал категорического императива, воплощаемого Иешуа [ibid., p. 262–263]). Булгаков, по Шейнзон, нашел уникальную литературную форму для философски приемлемой презентации идеалов, описанных Кантом. Тем самым неортодоксальный взгляд Канта на религию, который был проблематичным для Гоголя, получил развитие в творчестве Булгакова. Работа Э.М. Шейнзон опирается на зыбкое основание (автор признается, что не имеет надежных сведений о степени усвоенности обоими русскими писателями кантовской философии), но сама реконструкция, произведенная на основе анализа многочисленных текстов, должна получить адекватную оценку со стороны исследователей русской кантианы.

«Русские, — по мнению Канта, переведенного А.Н. Кругловым, — часто не имеют способности суждения» (с. 408), «русские глупы» (с. 416), «у русских нет культуры» (с. 419). Новая монография убедительно доказывает, что эти суждения кенигсбергского мудреца далеки от реальности. За всю историю рецепции кантовской мысли в России русские поэты и прозаики продемонстрировали и ум, и культуру, и способность суждения. Не ци-

нические шутки поверхностно усвоивших начала кантовского учения литераторов, а высокие образцы философской культуры и культуры вообще — от Карамзина до Льва Толстого, от Пушкина до подарившего нам в высшей степени интересную работу А.Н. Круглова — останутся вечным укором русофобским предрассудкам великого немецкого философа, на чью могилу вот уже несколько десятилетий возлагают цветы его земляки — соотечественники Достоевского и Булгакова.

И. О. Дементьев,  
доц. каф. истории  
Института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта

### Список литературы

1. Давыдов Д. Школа, избегающая дефиниций // Новый мир. 2006. №10. URL: [http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/2006/10/dd17.html](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/10/dd17.html) (дата обращения: 01.04.2013)
2. Красавченко Т.Н. Русская литературная эмиграция и политика. Феномен Гайто Газданова // Русское Зарубежье: приглашение к диалогу: сб. науч. тр. / отв. ред. Л.В. Сыроватко. Калининград, 2004.
3. Кузнецов Ю. Дух Канта // Поэзия: альманах. М., 1989. Вып. 52.
4. Пастернак Б.Л. Охранная грамота. Шопен. М., 1989.
5. Fink H.L. The Harmsian Absurd and the Bergsonian Comic: Against Kant and Causality // Russian Review. 1998. Vol. 57, №4.
6. Hirschberg W.R. [Review:] Ya. E. Golosovker. Dostoevski i Kant. Moskva. A.N. 1963. 101 pages. 21 k. // Books Abroad. 1965. Vol. 39, №1.
7. Mallak G. de. Pasternak's Critical-Esthetic Views // Russian Literature Tri-quarterly. 1973. №6.
8. Mallak G. de. Pasternak and Marburg // Russian Review. 1979. Vol. 38, №4.
9. R.B. [Review:] Ya. E. Golosovker, Dostoyevski i Kant. Moscow, Izd. AN SSSR, 1963. 102 pp. 21 kopeks // Soviet Studies. 1964. Vol. 16, №2.
10. Sheynzon E.M. The Quest for Noumena in Russian Literature: Kantian Trends in Gogol and Bulgakov: Diss. / Northwestern University. Evanston (Illinois), 2005.

### References

1. Davydov, D. 2006, Shkola, izbegajushhaja definicij [School, avoiding definitions], *Novyj mir* [The New World], no.10, available at: [http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/2006/10/dd17.html](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/10/dd17.html) (accessed 1 April, 2013)
2. Krasavchenko, T.N. 2004, Russkaja literaturnaja jemigracija i politika. Fenomen Gajto Gazdanova [Russian emigration literature and politics. The phenomenon Gaito Gazdanova]. In: Syrovatko, L.V. (ed.), *Russkoe Zarubezh'e: priglashenie k dialogu* [Russian Diaspora: an invitation to dialogue], Kaliningrad.
3. Kuznetsov, Yu. 1989, Duh Kanta [The spirit of Kant], *Pojezija: al'manah* [Poetry: Almanac], no. 52, Moscow.
4. Pasternak, B.L. 1989, *Ohrannaja gramota. Shopen* [Writ of protection. Chopin], Moscow.
5. Fink, H.L. 1998, The Harmsian Absurd and the Bergsonian Comic: Against Kant and Causality, *Russian Review*, Vol. 57. no. 4.
6. Hirschberg, W.R. 1965, [Review:] Ya. E. Golosovker. Dostoevski i Kant. Moskva. A.N. 1963. 101 pages. 21 k., *Books Abroad*, Vol. 39, no. 1.
7. Mallak, G. de. 1973, Pasternak's Critical-Esthetic Views, *Russian Literature Tri-quarterly*, no. 6.
8. Mallak, G. de. 1979, Pasternak and Marburg, *Russian Review*, Vol. 38, no. 4.
9. R.B. 1964, [Review:] Ya. E. Golosovker, Dostoyevski i Kant. Moscow, Izd. AN SSSR, 1963. 102 pp. 21 kopeks, *Soviet Studies*, Vol. 16, no. 2.
10. Sheynzon, E.M. 2005, *The Quest for Noumena in Russian Literature: Kantian Trends in Gogol and Bulgakov*, Diss., Northwestern University, Evanston (Illinois).